

НЕСКОЛЬКО СЛОВ перед книгой

Когда-то, лет пятнадцать назад, находясь в Москве, я собрал книгу из написанных в прежние годы стихов и прозы, по-разному связанных с темой эротики, назвав ее «Фрагменты близости». На оборотной обложке был небольшой текст, начинавшийся словами: «Близость по природе своей сторонится слов. Иначе — куклы на простынях, а Бог в окно вышел. Исключения редки. В русской литературе в особенности». Запальчивое высказывание с надеждой что-то изменить на этом поле. Благо не без иронии, скорее — просто еще одна книга на пути к этой авантюрно манящей, но едва ли достижимой цели. С тех пор прошло пятнадцать лет, и я вернулся к этой затее, пересобрав эту книгу и добавив в нее многое из тех событий души и тела, которые прирастались за эти годы, связанные прежде всего со странствиями по Индии.

В процессе чтения может создаться впечатление, что это главная тема в моем творчестве. Нет, конечно. Хотя и далеко не

сторонняя. Как и, полагаю, для любого жизнелюбивого человека, не обделенного чувством красоты и ее светлого морока.

А начинается книга с того, что осталось в ней за кадром, но, видимо, как первая любовь, будет незримо присутствовать, подсвечивая все, что произойдет потом. Киев, 1981 год, мне двадцать два. Только что в Москве с предисловием Вознесенского издан мой роман в стихах — «На фоне неба и во всю длину», моя первая публикация. Но радость скоро сменяется сомнениями и хандрой, бросаю писать, путешествую наедине с собой — Байкал, Средняя Азия, Заполярье... В августе с друзьями отправляюсь в Крым, стаскиваем угнанным трактором строительный вагончик с горы на дикий пляж под Симеизом, обустроиваемся, весело живем. В один из дней вижу ее на пирсе, она прыгает и летит — так невозможно долго, что тело и ноги ее скрываются под водой лишь с последними лучами солнца. Знакомимся. Ее зовут N, она белошвейка из Ясной Поляны (под Мисхором), ей девятнадцать. Пару дней спустя мы с друзьями идем в пансионат на танцы, где я должен увидеть ее, идем в приличном хмелю. Там сталкиваемся с молодцами из харьковского танкового училища, они приезжают ежегодно — поразмяться в рукопашной. Их около полусотни. Кто-то из них уже волочит за руку N. Вступаем в бой. Дальше я помню только следующий день: сидим у моря, пьем чачу, у меня три перелома челюсти, рот зашит, зубы стянуты проволокой, цежу сквозь нее чачу. Чувство к N росло и терзало, это было впервые так остро, хотелось обнять ее, сказать, как люблю ее, впервые сказать эти слова, и — я был лишен речи. Не говоря уж об одутловатом лице, боли и запахе изо рта. Поэт, трубадур — с зашитым ртом. Плыл в горизонт и выл туда о любви. Друзья разъехались, пришла осень, я перебрался в полуразрушенный дворец Водарского (над Ялтой), там еще бомжевала милая пара — он, сбежавший из тюрьмы, и она, юная декабристка, с ними еще была такса и полутораметровый варан, который

эту таксу то и дело игриво заглывал и сблевывал в детской песочнице. А я спускался к морю, брал по пути в библиотеке очередной том Достоевского, пару яиц в магазине (взболтать их в стакане и цедить) и считал дни, когда снимут эти зубные вериги. Месяц спустя их сняли, я приоделся и поехал в Симферополь, где она училась... И было нам счастье, хоть и недолгое. Под сердцем у меня до сих пор крест, прорезанный мной кухонным ножом и залитый тушью в Симферополе. Удивительно другое. Я знал, что она вскоре вышла замуж за какого-то геолога, что у нее трое детей, что она живет в придорожном поселке Чистенькое под Симферополем, в частном доме с водой на улице, что, наверное, руки ее от бесконечных зимних постирушек стали похожи на варежки, что прошли годы, а потом и много лет, что ее — той N — уже давно нет, что теперь это, наверно, раздобревшая и обветшавшая тетка с геологической фамилией, и все же, время от времени, оказываясь в Крыму, я пытался найти ее, и однажды, спустя двадцать лет, я дозвонился в соседний к ней дом и ждал, пока ее позовут, — так долго, как в тот первый день, когда она летела с пирса, пока не зашло солнце. И вдруг услышал ее голос — родной, девятнадцатилетний, будто и не было этих лет. И как тогда, но уже по-другому — слова сказать не мог. Но договорились, что она приедет — по дороге к родственникам в Ясную Поляну, я ее буду ждать на трассе. Не мог уснуть накануне, воображая варианты возможного и не. И, обессилев, сморился под утро в кресле. Звонок в дверь. Она на пороге — совсем не изменившаяся, та же девочка, с той же милой, чуть заторможенной, как из дальней дали, улыбкой. И весь день потом мы ходили с ней взявшись за руки, как дети, и я совершенно не помню ничего из этого дня, кроме ее ладони в моей руке, волшебного света и тихого счастья. К вечеру мы зашли в какое-то кафе, и она, чуть виновато взглянув на меня, спросила: можно ли взять ей этот остаток пиццы домой для детей? А потом я все искал тот телефон соседнего домика, но его нигде не было.

Начинается книга с середины 1980-х, с истории с М. и цикла стихов, написанных в то время в отсветах этой встречи. Забегая вперед: стихи и проза этой книги не мемуарны, а именно что отсветы, хотя нередко они имеют биографическую подоплеку, но есть в ней немало текстов, вовсе не связанных с реальностью, рисунков воображения. Или в прихотливой и отдаленной связи того и другого, как в истории с М.

Тот же Киев, где я впервые встретил ее, она приехала на пару дней из Рязани к своей подруге, с которой мы были знакомы. И с первого же взгляда — нет, не влюбились — нас так бросило друг к другу, что мы уже не могли разъяться — ни в такси, ни до утра в пустынной квартире этой подруги, где кроме синтетического ковра во всю комнату ничего не было. Не знаю, как мы выжили в этом безумии десяти непрерывных часов, находя себя то в одном, то в другом углу комнаты, но наутро у нее вся кожа на спине была стерта, а у меня — колени и локти, но мы этого ночью и не заметили. Она в тот день уезжала домой, я шел на работу. А устроился я в то время на полгода сторожем в оперный театр, закрывшийся на реставрацию. Мне нравилось бродить неким Ионой в этом китовом чреве, где во тьме под куполом проплывали, мерцая, Модест Мусоргский под руку с Гулаком-Артемовским в окружении маленьких лебедей и других аватар муз. Я поднялся на купол, разделся, лег: майское солнце, город внизу и окрест кренился и плыл в глазах. Никогда со мной такого не было, как той ночью. Спустился и поехал в Рязань. А полугодом спустя, когда в который раз приехал к ней, не предупредив, стояла трескучая зима, был поздний вечер, я подошел к ее дому в центре города и увидел ее в окне, она глядела с нежной тоской, прильнув к стеклу, в эту пустынную белую тьму, не видя меня. И так перехватило дыхание от этой муторной безысходности, от желания как-то обжить ее светом и счастьем, сдвинуть реальность — чудом... Я обернулся: позади меня, чуть в стороне, горело окно — единственное

на всей темной улице: «ЗАГС». Буква «А» вспыхивала и гасла. И снова вернулся взглядом к ней — она все глядела, кажется, вечность так коротая. Вошел, обнял, молча взял ее на руки и понес в ЗАГС. Он был уже закрыт, но начальница над чем-то еще там еще корпела. Уж не знаю, как я уговорил ее нас расписать. Вышли. Шел снег во тьме, ни машин, ни людей. И тут вдруг едет автобус — совсем пустой. Я торможу и говорю водителю, у которого тихонько играет музыка в салоне: мы только что поженились, не могли бы ли вы покружить нас по городу... Едем, танцуя с ней в проходе, обнявшись, а водитель, видя нас в зеркальце и улыбаясь, немножко вторит нам ходом автобуса — влево-вправо... Так и кружили по пустынным ночным улицам, попивая привезенное мной шампанское. А потом долго жили еще — то вместе, то в разных городах и снова вместе, потом разошлись, но навсегда остались родными людьми.

Перелистнем многое, где-то начало 2000-х, Мюнхен. Живу, рисую, делаю выставки. На одном из своих вернисажей знакоюсь с Т. Австрийская герцогиня, нерослая, с телом девочки возраста бабьего лета и тончайшим рисунком внутреннего мира и речи — проступающими, как водяные знаки, и так же тающими, но остающимися в памяти очень надолго. Ее отец профессорствовал в университете, мать рисовала дома (и хочется добавить: играла на клавикогдах, — но нет). Их фамильные замки отошли Чехии и Австрии. Сама она, при двух высших и владении семью языками, включая древнегреческий и русский, и при всех ее возможностях и связях, работала в доме престарелых, ухаживая за стариками. Что-то вроде добровольной епитимьи, хотя сама так не воспринимала. Быть чуть в стороне от людного и не оставлять следов — в виде карьеры, детей ли... Так и жила — как жемчужина в глубоководье. Слушая Гомера в подлиннике или окунаясь в Юнга. 31 декабря за несколько часов до Нового года мы впервые встретились наедине — в сумрач-

ном кафе со свечами, рядом с бывшей резиденцией королей. Где ты будешь праздновать, спросил я. Она пожала плечами и улыbnулась. И долго смотрели в глаза друг другу, совсем не чувствуя этой паузы в разговоре. Тихо и чутко, но и как бы не совсем здесь и теперь — как глядят в огонь. Вышли, и по пути к ее дому я успел купить сто восемь маленьких свечек-шайбочек. И две бутылки вина — белое и красное. Комната у нее была белым-бела, как сновидческая келия. Я расположил эти свечи на полу в виде большого круга-мандалы, примерно двух метров в диаметре. А между свечами ставил по одной стопочки и рюмки, благо у нее нашлось немало этих емкостей. И наливал в них с чередованием — красное, белое. Она наблюдала молча, чуть улыбаясь. И зажег свечи, и выключил свет. Подошел к ней, обнял. Под ладонями — где бы ни касался — все было таким тревожно родным и чуть недоверчиво податливым. Это родничок, прошептала она, когда я положил руку на ее темя, едва чувствуя легкий трепет пульсации. И, не помню уж как, раздевшись, мы вошли в этот горящий круг. И легли. Сплетаясь и расплетаясь, как нечитаемый иероглиф, все неудержимей, а в минуту предела близости, она вдруг выгнулась всем телом и вскрикнула: never! never... никогда я не стану твоей... женой! Но руки ее, прижимавшие меня к себе, и всё в ней говорило о другом. О тех же следах, которые «не оставлять». Под утро я очнулся в этом догоревшем круге, один, голый. В чуть светящем окне шел снег. На кухне я нашел ее записку мне. На английском. Так и стоял в оторопи, скользя взглядом по плывущим строчкам. Она ушла. Исчезнуть. В тишь иных садов. Совсем. Из жизни. И снова вглядывался в слова. Как водяные знаки — проступавшие разными смыслами и тающие. Нет, тут что-то не так, уговаривал я себя, это просто ее английский такой нездешний... И вдруг — звук ключа в двери. Прильнула, обняла. И я — через ее плечо — наконец прочел: не грусти, пошла побродить в новогодне иномирных садах исчезающей жизни.

С ней же я впервые оказался в Индии, в предгорье Гималаев, а затем у истока Ганги, вернулись и разошлись.

Разошлись, но не с Индией, с которой началась долгая связь. С Индией и с З. Чуткое речевое счастье. Как бы жизнь ни была темна. Мир ведь ходит в нас по горло в небытии. И, не будучи выхвачен речью, во тьму и уходит. Но как, чем — в этом мутном, вязком пространстве косноязычия и лже-свидетельств — высветить его, удержать? Она умела. Как мало кто. Умела перехватывать мир на той его симфонической скорости, к которой мы так редко восходим. И удерживать, называя. И речь светилась от этой точности, сливаясь с миром. С ней в джунглях Индии был зачат наш сын. Об истории наших с ней странствий написан роман «Адамов мост». Расстались, но по сей день в переписке — то смолкая, то подходя слишком близко и обжигаясь, и трудно сказать, где мы более настоящие — в этих письмах или в тех своих жизнях, по которым разошлись.

В один из дней этой жизни порознь мне попались на глаза другие письма. Скандально известные и к тому времени не переведенные любовные письма молодого Джеймса Джойса своей жене Норе Барнакл, отправленные из Дублина, куда он ненадолго отлучился, в Триест, где она ждала его. Не желая терять тактильную связь, они договорились поддерживать физическую близость — в открытую, ни в чем не сдерживая себя — в письмах, в словах, делегируя воображению предельную степень свободы.

Письма эти исполнены страсти, распутства, с крупными планами, во всех подробностях и «перверсиях», с запахами, травестией, игрой, иронией, обценной лексикой, нежностью, ревностью, но прежде всего — нестерпимой любовью. Оба сладостно, до одури, изводят друг друга этими вербальными любовниками, согладаятываясь, проживая их близость вплоть до оргазма — не виртуального. 2 января

1909 года Джойс возвращается в Триест, перед тем признавая Норе в письме: нет большего счастья, чем дни и ночи просто сидеть с тобой на нашей бедненькой кухне, курить, читать, смотреть, как ты стряпаешь, чувствовать, что рядом очаг, дети, и говорить, говорить, говорить с тобой... бог небесный! Что же подвигло меня на перевод этих писем, несмотря на вроде бы явное табу частной переписки, причем крайне особой? Поводом стал случай, благодаря которому я со своей спутницей оказался на несколько дней в Триесте. Бродили по местам Джойса, читали, пили, ели, любили под дождем и вглядывались в это растущее чувство странных созвучий, будто не двое нас, а четверо, и даже несколько больше. Случай и вызов. Вызов, на время заслонивший этические колебания. Как заметил Пушкин на полях рукописи Вяземского: «Поэзия выше нравственности», хотя и добавил: «Во всяком случае, совсем другое дело». Я выбрал зыбкую траекторию — провести текст между тремя «гравитационными полями»: письмами, прозой Джойса и собственным опытом. Стараясь удерживаться на линии срединного напряжения между ними. Перевод — это динамика двойничества и промежутка, чистая провокация для нового произведения, говорил поэт Алексей Парщиков, считая буквальный подход в этом деле протокольным кошмаром. Для записи этой динамики двойничества и промежутка я выбрал переложение в нерегулярный стих, слегка осветлив тональность. Эти письма помещены в конце книги. «Чувство прекрасного совлекает нас с путей праведных», — говорил Джойс.

А потом случилась еще одна встреча. Та, где, казалось, тело не лжет. Только оно и не лжет — на всем белом свете. Да и на черном. Одно — на двоих. И не сложить, не понять, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Не страсть, и не любовь даже. Не запах, не кожа, не изнурение глаза, пьющего эту неутолимую нежность и хворь счастья — в каждой чуточке тела, в каждом его изгибе — настолько, что исчезаешь в себе, падая,

падая... Но куда? Не в нее ведь. И даже не в это тело, от которого, хоть и виду не подаешь, все дрожит и плывет. А туда, где все началось, откуда растет, именно туда падая — в дни творенья. И дело не в пресловутых двух половинках, сошедшихся в тютельку божью. Не может, чтобы так мистически безначально и навсегда сливались тела, а жизни непримиримо врозь. Не о сексе это, не о подворье тела, а обо всем его мироздании, которое нам непроглядь, и только они, тела, это знают и чувствуют, и во многом — по ту сторону нас. Каким-то божественно гибельным инцестуальным родством. Это — не лжет. Это. А остальное, то есть попросту жизнь, — не примирить, не сблизить. Боже, как она говорила, до чего ж мы чужие, до зубовного скрежета.

И, как всякая история, оказавшаяся короче жизни, и эта пришла к концу. Началась пандемия, я уединился в Мюнхене, писал роман «Улыбка Шакти» — наверно, главную свою книгу. Об этом долгом странствии с ответами из ближних и дальних краев жизни. Вышла эта книга в феврале 2022-го, когда стало уже не до книг, а порой и слов. А в те минуты, когда все же речь искала себя, писались такие строчки:

...

Тысячи ампутированных ног, рук
приходят в себя на том свете:
где ты, друг,
тело мое — Володя, Петя...

Плывут, огибая мертвых, целых,
как астероидные цепочки.
Мама, ты? Иль туманность божья
в полой ночной сорочке?

Где-то там, внизу — города-дороги,
Лучик жизни сквозь ад беды.

Над землей, где лежат эти руки-ноги,
с тихим стоном восходят сады, сады...

...

Матушка, мартобря, две тыщи
числа не помню, — пишет письмо
сержант Поприщин,
вернувшийся с СВО.

Нефть горит, небеса в алмазах,
смерть говорит: не худо мне.
Передай армии карамазовых,
что лежат они в вечерах на хуторе.

Матушка, глаза у тебя как клецки.
Будет тебе, главврач говорит, дом,
потерпи, и смеется
добрым — от Москвы до Сибири —
мертвым ртом.

Но вернемся к книге. Казалось бы, какая по нынешним временам лирика, когда повсюду лютует смерть, танатос. И все же. При том, что не думаю, что войне может противостоять любовь или музыка, поэзия. Противостоять — нет, но жить — как надежда и вера и помощь — должны, очень. И может быть, для кого-то эта книга будет кратким глотком другого воздуха посреди тягот и бед. На что и надеюсь, как и на дни, когда время наполнится миром.